

# Нас пижут — и мы пишем

173

эссе

## Осенние отсчёты Сергея Малышева



**В**чера дождь был особенно мокрым. Сегодня суховат. А завтра выпадет белая крупа. Но я об этом ещё не знаю, потому что живу между вчера и будущим. Странное место. Здесь ничего не происходит. Уже что-то случилось и, видимо, произойдёт потом. Но сейчас пусто... Только мёрзлые ветви трещат, избавляясь от последних листьев памяти.

Яростно-проливная осень смыла сонливость. И я с неуверенной верой в будущее лето включаю «обратный отсчёт» осенних листьев книги Сергея Малышева:

Осень благодати полна,  
подуривши всласть.  
Есть у жизни тишина,  
как туда попасть?

Ломким скрипом из-под ног  
слышен каждый лист.  
Одинокий, словно Бог,  
бродит атеист...

Такая же одинокая поздняя осень подкрадывается ко мне и пытается схватить через форточку блокнотные записи, разворошить письменные листы на подоконнике и выстудить все те слова, которые поднимаются вместе с толчками сердца к голове.

Необъятная ширь ранено-раннего осеннего дня, уже дотлевающего и готовящегося погаснуть для того, чтобы возжечь звёздное небо и автомобильные фары, обволакивает меня хмарью и настойчиво выталкивает из неуютной квартиры на улицу бытия и обочину пешеходной жизни:

...Лежишь на обочине. Мёртвые губы  
в улыбку заветное слово свело.  
А жизнь продолжается. Теплятся трубы,  
сады облетают и в мире светло.

174

Это ведь всего лишь первый снег. Он ещё растает. Оттает и моё заочное тело. И душа ещё развернётся, крикнет по-молодецки, пробежит по мышцам живительный озноб.

Ещё впереди спасительные дожди. И, быть может, третье бабье лето, потому что первое и второе уже было, но почему не быть и третьему? Ещё и листья в утренней мороси возвратятся на деревья. И крыши домов пропекутся заново от ноябрьских тихих солнечных лучей.

А, может быть, даже на свой день рождения в конце октября, как и прежде, я искупаюсь, закрывая этим от важным ритуалом плавательный сезон. Только если и случится это – не на Казанке, закованной теперь намертво новой беспощадной набережной, а на Волге, любимой мной священной, но отстранённо. Ведь вырос я всё же на моей родной Казаночке – тихой и близкой, широко разлившейся в устье...

Моя песочная Казанка, где впервые я научился плавать в глубоком детстве, в юности разговаривала со мной на старой дамбе, ведущей от НКЦ к Кремлю. Она нашёптывала бегущими маленькими волнами бесконечную вечернюю историю, а позднее, когда я подбирался к мужественному тридцатилетию – стала надиктовывать стихи, ещё бестолковые, но уже особенные.

С самого начала я был уверен в своей особенностях, отдельности от всего. Осенью думалось об этом отчётливее:

И кто не тоскует украдкой  
с подначки осенних дождей  
над самой знобящей загадкой –  
единственной жизнью своей?  
Ты – словно листок безымянный  
у здешних забот на краю.  
Не страшно, но чувствовать странно  
от прочих отдельность свою...

Осенью вообще думалось острее. Промозглыми вечерами со своим умнейшим и уже стареющим псом я шушал густо устланной искорёженной жёлто-красной листвой возле кремлёвской стены у цирка, неспешно надвигаясь на Ленинский мост, укрытый от чужих взглядов старинными деревьями – теперь безжалостно вырубленными. И в частых приступах самоистязания и жалости к себе думал о том, что, пожалуй, никому я не нужен и никто не любит меня, кроме моего милого пса:

...Я, наверное, живу на свете,  
Чтобы меня любила моя дворняга.

И вечность рисовалась мне как зияющая яма в небе. Я смотрел на звёздные вихри, то и дело проносящиеся над городом и утешал себя мыслью, что вот так же и жизнь моя пронесётся во времени, но кто-нибудь обязательно заметит мою яркую звёздочку. А может быть, таких будет даже несколько или бесчисленное множество глаз, читающих мою жизнь по стихам, и что я обязательно напишу очень известное произведение, и все его будут цитировать, поминая тем самым и меня, вот только бы создать его попозже, иначе что мне потом будет делать?

И вставала луна:

На громады домов и чугунов мостовых  
полагаться опасно:  
над Казанью луна, как державинский стих,  
тяжела и прекрасна.

И Казань под луной ненадёжно легка,  
хороша и не вечна.  
И мгновенья легко переходят в века,  
и века быстротечны...

Луна освещала потрёпанный блокнотик, и я всё вписывал и вписывал тугие слова, наползающие друг на друга. Даже когда мне было хорошо – слова



выходили грустными, строчки кровоточили и пахли солёной прелостью алых октябрьских листьев. Собираемый гербарий букв меж блокнотных страниц не высыхал, а наоборот – пропитывал своей горечью ещё не исписанное клеточное пространство.

Что писалось мной – неизбежно сбывалось по прошествии некоторого времени. После стихов я был сух, как выжата губка, и по несколько дней с потрескавшейся кожей и душой наполнялся новыми звуками, запахами и цветами, чтобы опять их излить вместе с частичкой своей вечности в окружающее место, в обстоятельства и окольцевавшее меня время. Стихи мои были, словно пёсы пометы на столбах и заборах: это я! я – здесь был! я – пока существую!

Но стихи убивали меня. Я тратил по крупинке свою душу на каждую написанную закорючку. И физически и духовно истерзанный, бросался на штыки рифм впалой и одышливой грудью. И каждый раз погибал:

Стихи – как ветер в поле –  
не значат ничего.  
Преодоление боли,  
не более того.

За всех прожить однажды,  
изведать что почём.  
И, наконец, от жажды  
погибнуть над ручьём.

И каждый раз, уже не думая, что это произойдёт – оживал. И другая жизнь мало интересовала меня. Мистическая установка на убивание себя поэзией сдерживала иные механизмы работы души, готовые, я интуитивно чувствовал это, принудить меня оглянуться из глубоко себя на вещи внешнего мира. Оглянуться и восхититься красотой любви к другому человеку. Восхититься жертвенными чувствами или логическими абстракциями высоких понятий:

...Звёзды мои горестные гасли,  
таяли раскованные льдины...  
Жизнь ещё не кажется прекрасной,  
но уже вполне  
необходима.

Совсем лишь недавно произошло растворение моего эго во всеобщем осеннем умирании живого и пришло мудрое и светлое понимание любви к близким и родным существам, но только после страшных потерь, мучений, сомнений, одиночества и тоски. Вместе с самым последним оторвавшимся от ветки кленовым листом.

Жить – интересно.  
Во всех повторяясь отчасти,  
но не песчинка,  
скорее, на ветке листок,  
верю в своё –  
исключительно личное – счастье:  
жить среди тех,  
без кого я прожить бы не смог.



## Храм Галины Булатовой...

**К**ак часто в наше суматошное время мы читаем стихи? Не часто. А если и читаем – то бегаем скорее глазами по строчкам, стараясь ухватить самую суть: поэзию... Музыку слов... Яркие образы... Оригинальность мысли... Интеллектуальные изыски... Неповторимую интонацию...

Всего этого сейчас – в «бронзовый» расцвет российской словесности – можно найти в избытке. Так чего не хватает? Теплоты? Человеческого участия автора? Но ведь это так просто! И так теперь сложно обнаружить и ощутить (исключая добрую и светлую, но графоманию) – просто что-то человеческое... Человека!

Торопись за Диогеном с фонарём и очень выстраданно поддакиваешь ему. А когда находишь искомое – радостно зажмуриваешься и перечитываешь:

Ищу человека. Ищу в человеке простое.  
Несметным богатствам простого –  
не нужно охраны.  
Я здание Розы для всех  
и для каждого строю,  
И небо бескрайнее высится  
куполом храма.

От вселенской Розы Мира Даниила Андреева, через сверхчеловека – Мега Я – Диаса Валеева и идеи единения

Храма всех религий Ильдара Ханова – осуществляется духовная подпитка поэтического сознания автора. Создаётся энергетическое поле – матрица вдохновения. Это та благодатная почва, на которой древо бескорыстного служения искусству обязательно принесёт свои плоды:

Не напоказ – в себе свой храм ношу,  
Но звон колоколов пронижет время.  
Когда-нибудь счастливо напишу  
Я лучшее своё стихотворенье.

Работа над Храмом у каждого поэта продолжается вечно. В его творческой мастерской постоянно кипит работа и даже в самые горькие и драматические моменты жизни он сохраняет то самое важное, что живёт в человеке – вера и надежда:

Если всё это Бог  
Потеряет из вида,  
Или взвешивать станет,  
над бездной держа, –  
Ничего не останется –  
только дышать:  
Вдохновение – вдох,  
А поэзия – выдох.

И пейзажная лирика включается в эту работу. Автор без труда, именно что по наитию, отыскивает энергетические сгустки доброты. Метафора отблеска солнечного света преобразуется в ду-

ховную просветлённость. Печальный отзвук многопудового колокола, упавшего со звонницы Раифского монастыря в тяжкие для России времена безбожия – свидетельствует о родовой памяти, заложенной в каждом человеке, о его сопричастности и сопереживанию своей истории. И воды озера символизируют живую воду бытия, которая способна оживить мёртвую плоть камня святых мест, как оживляет своим поэтическим даром сам поэт – сердца читателей:

И будь Софийский храм,  
 будь Троицкий собор,  
 Грузинской Божьей Матери  
 будь церковь,  
 Будь стены и врата,  
 будь самый дальний двор, –  
 Во всяком камне оживает сердце.  
 Услышав звон ли, стон,  
 как странно заболеть  
 Обителью Святого Филарета.  
 ...А озеру блестеть,  
 и церковкам белеть  
 На взлёте вёсел в середине лета.

Идея гармонии – как сбалансированной архитектоники отдельного образа в строфах тоже берётся автором извне – из единения архитектурных культовых сооружений Храма всех религий, например. Здесь внешнее единство побеждает внутреннее противоречие соперничающих между собой религиозных символов. И поэтому – конструированию новой положительной поэтической реальности «по образу и подобию» поэт уделяет так много сил и времени:

Где безмятежный Будда  
 правит цветок–ковчег,  
 Льёт византийский купол  
 золото на мечеть.  
 Из тесноты ущелий к дали,  
 что так светла,  
 Вместе идут священник,  
 лама, раввин, мулла...

И как итог – единственная созидательная сила любого творчества и вечный двигатель всего человеческого – в стихах автора, может быть даже иногда и трагических – побеждает всегда.

Потому что, соединяясь в веру и надежду – миром поэта неизменно правит любовь:

Начните с чистого листа –  
 сейчас, с утра,  
 когда обрушит высота  
 дожди, ветра,  
 и сядет в лужу после дождика  
 четверг,  
 и сдавит сердце от следов чужих  
 поверх,

когда навстречу шахте, вниз,  
 несётся лифт,  
 когда читать устанешь жизни  
 мелкий шрифт,  
 и остывает на погосте  
 «я люблю»,  
 и даже пуговица просится  
 в петлю,

когда, случайный, под ногой  
 кленовый лист,  
 краснея, шёпотом его  
 поднять велит, –  
 какое чудо: не считая  
 этажи,  
 начать с кленового листа  
 любить и жить!





## Сны Сергея Кудряшова

**Ч**еловек оживает, когда засыпает. Сны и есть его настоящая жизнь, полная приключений. Кажущаяся фантазмагория деталей и сюжета любого необычного сна – всего лишь унылый взгляд из этого логически обоснованного мира. Но! От двадцати до тридцати лет своей жизни человеческое существо, оцепенев по стойке смирно или свернувшись калачиком, ловит на священном для него ложе Морфея короткие и яркие вспышки прозрения, в которых за несколько минут проживает намного более живую жизнь, чем та, что караулит его с утра и будит пинками первых солнечных лучей:

Мы умираем в цвете лет  
и ходим мёртвые по дому  
жуём резиновый оmlет  
и пьём тягучую истому  
упёршись ночью  
в рыхлый бок знакомый  
видимо супруги...

Прозренья эти – отблески бытия иного порядка. Неправда, что сон – империя теней, опутывающая дремлющий разум тенётами импульсов-раздражителей внешней среды. Мозг в этом случае лишь сбрасывает оковы повседневности и погружается в увлекательный мир настоящего прорицания. Свободное падение во времени и про-

странстве, особенно в четверг – дарит нам вещие символы высшего знания, после разгадки которых человек превращается в оракула и обретает вечное счастье в блаженном беспокойстве:

...я тень, облёкшаяся в прах,  
я говорю, как Заратустра,  
и губы сковывает страх,  
и слово стиснуто до хруста.

Пророчества – второе имя поэзии. Поэтическое сознание в полной мере включается в работу именно тогда, когда обыденный разум обмяк и не представляет угрозы для полётов интуиции. Сколько всего было предсказано во сне! Сколько великих строк родилось посреди ночи – лихорадочно записанных на первых попавшихся клочках бумаги и поэтому оставшихся жить или скоропостижно скончавшихся, поскольку коварная дрёма побеждала ослабленную мраком волю творца. И всё же только во мраке, в тени обжигающе-светлого и пустого мира уместен поэт:

В бетонном обществе деляя,  
как ни прискорбно это,  
но удивителен сам факт  
присутствия поэта.  
поэт уместен на одре,  
как уходящий в тень –  
в июле, в марте, в январе,  
всё дальше каждый день...

А если ты пишешь днём и выковыриваешь слова из коросты обыденности – шлак продуманных строк лишь умножает твою скорбь. Печаль ядовитой мудрости растворяется в незащитном теле листа, впитывается всеми его кровеносными клетками и даже если введена сыворотка правды – то и она уже ничем не может помочь, ибо надменная ирония интеллектуальной мысли уже всецело властвует над трепетным сердцем. И мысль эту, изречённую пером, уже не вырубить топором позднего раскаяния. А значит, пересчитывая скудное золото цивилизационных благ, приходится уповать на совсем другое золото – великое золото молчания:

...пусть каждый получит  
по собственной вере  
и будет источником шума большого  
но ты убедился на личном примере  
молчание больше всего остального...

Солнечный свет – великий враг пишущей братии. Только он вселяет пагубную самонадеянность авторской гордыни. «Без тени сомнений...» берётся поэт за перо и заводит себя в тупик бессмысленности формальных построений. Ибо только ночью кровавое вдохновение лезвие музы, рвёт бессмертную душу творца и раскалывает череп писателя на мелкие костяные осколки только что народившихся слов. Обречённая уверенность в этом заставляет истинного певца будущих смыслов доносить до своих соплеменников роковую звукопись предначертаний, очень часто при этом жертвуя собственной жизнью:

...Замолчит ли глупец или жизнью своей,  
горстью радужных перьев  
оплатит учёность?  
Или, песня, семь нот твои –  
страха сильней,  
и поют – созная  
свою обречённость?

Сон – мировая копилка творческих идей и *громокипящий кубок* не вырвав-

шихся на поверхность эмоций. Черпая из этого волшебного котла густой бульон поэзии, не стоит забывать, однако, о том, что влита в него и капля цыкуты самоистязания, капля живой боли первородной души, капля крови неверия в свой путь и муки появления на свет живого слова. Попробовав такого разрушительного концентрата, далеко не каждый поэт способен потом к регенерации. Создавая из себя настоящее, живущее собственной жизнью произведение, он тратит свой энергетический жизненно необходимый запас. А когда тот истончается до критического состояния, напрочь разрушаются и основные инстинкты личности. Инстинкт самосохранения, изначально уже ослабленный у по-настоящему творческих людей, полностью захлёстывает тогда всепоглощающая суицидальная волна океана безумия:

...Разберёмся в себе, рефлексирюя, но  
высекая такие моменты познания,  
что влечёт головой непременно в окно  
с высоты на асфальт  
из панельного зданья...

И всё же. Даже если поэт умирает – он не умирает. Его связь с внешним миром – тонкая нить слов и сумма всех любовей в них – живёт вечно. Он приходит из снов, уходит туда же и загорается новой звездой на ночном небе каждого прочитавшего его стихи. Каждой взволнованной им душе – светит его мерцающий свет и приглашает её в увлекательное путешествие по бесконечному миру приснившейся Вселенной. И рождается младенец. И падает звезда ему на грудь. И не прерывается связь:

Я не знаю, откуда взялась эта связь,  
эти звёзды сквозь продух  
земного колодца,  
этот промельк души в вышине,  
но – взялась  
и дрожит, натянувшись,  
и всё же не рвётся...